

РОДИНА БЕРЕЗОВЫХ ЛОЖЕК

Повесть

1

Когда начались обстрелы, наш дом задело одним из первых. Артиллерийским снарядом ему снесло верхние этажи. Словно гигантской болгаркой срезало. Тогда я был на уроках и подробности узнал позже. Много подробностей. Ими делились щедрые на отчаяние и страх соседи. Те, кто выжил. И те, кто оказался рядом. «Шесть человек, погибли шесть человек», — бормотал Александр Никифорович, глуховатый педиатр из соседнего дома.

Из этих шести я знал лишь старуху Фадеевну, державшую у себя орду кошек, и дверь в ее квартиру, поставленная еще при Союзе, скорее для вида, нежели для защиты, не могла сдержать ядовитой вони. Чудовищного запаха, который я помню даже сейчас. Впрочем, саму Фадеевну я видел всего два или три раза (она старалась не появляться на людях): сгорбленная востроглазая старушонка в болоньевом плаще и с ржавой «кравчучкой». Она приманивала кошек и на лестничную площадку, расставляя корм в баночках из-под сметаны.

Когда снаряд уничтожил верхние этажи, кошатница Фадеевна ушла из нашего города навсегда. Как и ее питомцы. Было ли мне их жаль? Нет. Было ли мне жаль ее? Тоже нет. И за это трудно себя осуждать. Смерть — даже после разрушенного дома — еще не казалась реальной, а была чем-то абстрактным, удаленным, не вызывающим слез. Я в принципе не задумывался о ней. И вот за это можно себя осуждать.

Мама говорила, что соседи, пересказывающие историю о нашем доме, смаковали подробности. Наслаждались ужасом. Точно в кино. Но я так не думаю. Они просто боялись. Как и все мы. И в то же время радовались, что это был не их дом. Да, знакомых, но все-таки не их дом. И не они мертвы, а другие.

Я получил эсэмэс от мамы на уроке географии: «Выйди». Поднял руку, вида ее, дистрофически-худой, обтянутой старомодной рубашкой, как и всего себя, я жутко стеснялся: «Извините, можно выйти?» Географию вела Акулина Степановна, дама строгая, но справедливая, страдавшая мигренями. «Нет». Я набил маме ответное эсэмэс, объяснил ситуацию. И оставшуюся часть урока просидел в судорожном волнении. Потом, уже на перемене, мама прокричала мне в трубку: «Срочно беги домой!»

Вернувшись, я увидел всклокоченных соседей, разрушенный дом, вооруженных ополченцев и раздавленную несчастьем маму. Она не встречала меня. Она рыдала, сгорбившись у дальней стены.

Платон Беседин родился в 1985 году в Севастополе. Автор романов «Книга Греха» (2012), «Учитель» (2014), сборника рассказов «Рёбра» (2014) и книги публицистики «Дневник русского украинца: Евромайдан, Крымская весна, донбасская бойня» (2015). Рассказы переведены на итальянский, английский и немецкий языки. Публиковался в изданиях «Дружба народов», «Наш современник», «Юность», «Новая Юность» и др. Также выступает как публицист и литературный критик. Живет в Киеве и Севастополе.

Я подошел, не в силах говорить, касаться, дышать, с сердцем, колотящимся до чугунного звона в ушах. Просто стоял рядом, потупившись, оплывая книзу, точно свеча. А мама рыдала. Худенькие острые плечи ее, будто под светлой курточкой был не человек, а вешалка, ходили вверх-вниз, до изнеможения. И лицо стало бледным, выжатым, точно вывернутым наизнанку. На нем еще больше, чем раньше, выделялись огромные печальные глаза, делавшие маму похожей на Богоматерь с икон.

Наша квартира сохранилась. Скарб уцелел. Но жить в ней было нельзя. Обрушились верхние этажи, повредились железобетонные перекрытия. С давно не беленного потолка крошилась пыль. Но мама все равно хотела остаться. Рыдала, билась, твердила, что нам некуда — она страшно завывала на этом слове, и я отворачивался, зажимая уши, — идти. А человек из служб Народной Республики — зачуханный, испуганный, но пытающийся выглядеть уверенно — говорил, что нас пристроят, что все будет нормально. Стандартный набор банальностей, от которого делалось лишь хуже.

Однако за ним стояло решение, вбитое клином в нашу прежнюю жизнь. И пришлось собирать документы, гроши, три чемодана вещей и мой рюкзак. «Ненадолго», — звучало обнадеживающее слово, но ему не верили, его отталкивали, в нем сквозила второй свежести фальшь.

На желтом «Богдане», еще с десятком людей, нас отвезли в пустующее здание школы. Там уже жили такие, как мы, и когда я подошел к свободной кровати, выскочил рослый мальчик, постарше и покрепче меня, и, не дожидаясь, сунул мне костлявым кулаком в челюсть, не сильно, так, для профилактики. «Это моя!» — крикнул он, а я покорной овцой согласился.

Мне отыскивали койку похуже, с продавленным, как в больницах, матрасом. Ничего, я не напрягался — главное, чтоб рядом дышала мама. И так было, хотя она не говорила со мной, а все терзалась, даже в темноте, когда легли спать. Она, как маленькое дитя, всхлипывала во сне, а я пялился в окно, искал звезды — не находил, закрывал глаза, сжимал их до боли, мысленно считая животных, боясь встать в туалет, хотя очень хотелось. Уснул я лишь ближе к утру, когда холодными красками забрезжил суровый донбасский рассвет.

2

Школу закрыли через неделю после того, как снаряд попал в наш дом. И на фирме у мамы не стало работы. Денег давно уже не платили, с этим мы смирились, но раньше хотя бы давали продукты, а теперь исчезли и они. Людей распустили по домам на неопределенный срок. И мы окончательно обосновались в общем бараке.

Мне всегда отвратительно туго давалось общение, а здесь, в замкнутом, душном пространстве, оно превратилось в тягчайшее преодоление себя. Пришлось смириться и с рослым мальчишкой, страдающим зудом костлявых кулаков, и с шумными тетками, устраивающими перепалки из-за еды и стирки, и с поддатými мужиками, изображавшими из себя больных или раненых. Мы все должны были мириться друг с другом и с ситуацией вокруг. Даже не знаю, что нам давалось труднее.

Я потерял сон, стал еще бледнее обычного, и мама, глядя на меня и вздыхая, начала выдавать мне апельсин или яблоко, по одному в день. Я съедал их вместе с семечками, до терпкой белизны выгрызая корки. Не знаю, где мама брала деньги на фрукты. Я в принципе многого не знаю о том времени. И уже, наверное, вряд ли узнаю.

Мозг отключился, перешел в новый режим. Как телефон, не принимающий и не передающий сигналов, так и я отбросил все лишнее, сосредоточившись на выживании. Прежде всего на моральном. С физическим было чуть лучше: нас корми-

ли два раза в день — кашами и бурдой, похожей на суп, иногда давали кусочки бледно-розовой разваливающейся тушенки и нашинкованную капусту, политую чем-то вроде растительного масла. А вот принять новый быт морально я не мог, как ни старался. Оттого проводил время за территорией барака. Мама запрещала, но я все равно убегал.

Гулял по тополиным аллеям, вернее, по тому, что осталось от них: много деревьев было вырвано с корнем или торчало обрубками. Блуждал меж подбитых, еще не заштопанных зданий. Натыкался на вооруженных людей, оравших, чтобы я не шлялся под пулями. И всякий раз я хотел идти к нашему дому, хотел подняться по лестнице на родной третий этаж, читая знакомые хамские фразы на стенах, чтобы в итоге оказаться там, где я прожил четырнадцать лет, всю свою жизнь. Но я не доходил, останавливался, думал о взорванной крыше, об одинокой маме и неизменно возвращался назад.

3

Мама не ходила на референдум одиннадцатого мая. Боялась. И так объясняла свой страх: «Проголосую честно — со мной разберутся, а если иначе... совесть замучает. Да и мы в любом случае проиграли».

Последнюю, обреченную фразу мама позаимствовала у соседки — тети Жанны. Та была сытая и холеная, вся цветастая, в рюшечках и кудряшечках, будто нарядный пудель из кукольного театра. С мамой она общалась только лишь потому, что всякий раз могла подчеркнуть свои достоинства и преимущества.

У нее был муж — дрянной, пьющий, но все-таки муж, которого она часто не пускала домой, и он, лежа перед запертой дверью, матом перечислял, за что он свою жену ненавидит. Еще у Жанны была машина — оранжевое «шевроле», залепленное патриотическими наклейками так, словно из него делали выставочный стенд. Жанне очень нравилось сидеть за рулем — «успокаивало», — и она все рвалась меня покатавать, но мама вежливо и стойко отказывалась.

Когда же в наш город зашел передовой вооруженный отряд, Жанна решила уехать, предварительно отлепив с «шевроле» наклейки — все эти георгиевские ленточки и «спасибо деду за победу». У нее, как оказалось, была квартира в Черкассах, и туда они с мужем собирались уехать, «чтобы не получить пулю в лоб».

Перед отъездом Жанна зашла попрощаться. Принесла чай, конфеты. Мама усадила ее на кухне, за накрытый полосатой скатертью стол, и они пили горячий — мама любила обжигающе-горячий — чай из красных пиал, и я тоже уселся в углу, таская из хрустящей коробки шоколадные, с вишневым ликером, конфеты. Потом Жанна ушла домой, забрала мужа, села в «шевроле», заперла квартиру, наказала нам за ней присматривать и умчала. А мы с мамой остались. До попадания снаряда в наш дом.

И я вспомнил о Жанне, потому что, похоже, в главном она оказалась права.

4

Мама решила уезжать из Донбасса в конце июля. Мы жили в лагере, оставшись без жилья и работы.

Когда я все-таки собрался и попал к нам домой, то увидел, что поврежденный потолок обвалился, накрыв всю квартиру. Шел дождь, и я стоял, раздавленный, как и наше жилище, беззвучно плачущий, заходящийся. Улица стыла пустотами, и возвращение домой теперь было окончательно невозможно. Перед глазами вспыхнули

разноцветные круги, и я, оглушенный несчастьем, побрел через остов детской площадки к городскому парку.

Прежнее больше не существовало. Оно отпочковалось, открестилось от нас, и воздух, нагретый июльским зноем, сгустился до невозможности; каждый шаг, каждый вздох давались с усилием, мощным, волевым, как чемпионское поднятие штанги. У бывшего гастронома я увидел здорового ополченца: он стоял, опершись на уцелевший платан, и курил смачными, долгими затяжками. Табачное облако, поднимавшееся в ясное лазурное небо, было как мое прошлое, неуловимое, горькое, за которое не уцепишься.

— Дайте, пожалуйста, закурить, — обратился я, и ополченец молча протянул мне сигарету. Я повертел ее в руках, пальцы, обгрызенные в ногтях, задрожали. — И огня, пожалуйста.

— Ни говна ни ложки, — пробурчал он, но зажигалкой чиркнул.

Я наклонился, сделал затяжку. И тут же закашлялся. Ополченец глядел на меня так же, как и прежде — лениво, без интереса. Глаза на его вытянутом, цвета вареной капусты, лице были голубовато-водянистые, потухшие, такие, как будто он давно уже умер. И перед этими глазами я не мог отшвырнуть сигарету, потому курил дальше, кашляя и страдая. Вся эта сцена — в ней было что-то неестественное, наносное — казалась дуростью, фарсом, насмешкой над горем и над собой. Но я все равно курил, делая то, что не получалось у меня в школе, когда под смех и подзуживание выдерживал две-три, максимум четыре затяжки, а тут смог докурить сигарету до половины.

Надсадный кашель не прекращался. Разноцветные круги перед глазами стали беспощаднее, ярче, спаиваясь с тошнотой и головокружением, но это было даже к лучшему, потому что важным стало заместить боль, отчаяние от утраты чем-то физически мерзким, гадким, подобно тому как больной зуб на время вытесняет страдания от несчастной любви. И я добился эффекта: пусть на мгновение, но сигарета оказалась неприятнее, досаднее, чем разрушенный дом. Благодаря ей я смог пережить самый жуткий момент в моей жизни. И «спасибо», произнесенное ополченцу, было предельно искренним.

Я не стал говорить маме о разрушенной квартире. Хотя, уверен, она давно знала о ней, но, оберегая меня, молчала. Никто из нас не хотел сообщать убийственно-черную, подводящую черту весть. Мы знали о разрушенной квартире, не представляли, как жить без нее, но ни слова не сказали об этом друг другу, словно заключили договор, пакт о ненападении дурными новостями. Очень личными, касающимися только нас.

Других бед, общих, у нас хватало — не расхлебать, не вычерпать и за век. Новые люди, жизнь которых растрепала война, набивались в наш барак, точно мерзлая килька, спрессованная в брикеты. Жара, зной усиливали человеческие запахи, подпитывали болезни — ОРВИ, дизентерию, — и мы ходили, словно чумные, толпились возле сортиров, облюбованных жирными малахитовыми мухами. После кто-то принес вшей, и меня обрили наголо, обработав специальным раствором, а женщины, устроив крик, бриться наголо отказались.

Лицо мамы — и без того будто списанное с маски вселенской скорби — стало еще мрачнее и, казалось, начало поглощать солнечные лучи. Я, как мог, старался не тревожить ее. Хотя раньше, когда любая проблема — будь то сложное домашнее здание, безденежье или разборки со сверстниками — настигала меня, я обращался за помощью, за советом к маме, зная, что она обязательно поможет, разрешит ситуацию, но теперь в ней было столько тревоги, растерянности, беззащитности, что я должен был сам оберегать и защищать ее, избавляя от внимания сотен

глаз, наглости сотен рук, влияния тысяч мыслей и чувств, создавая для нас двоих изолированное пространство, кокон уюта, в котором остались бы только мы.

Раньше, когда у нас не хватало денег и мы жили не то чтобы впроголодь, но до безобразия скромно, что с нами случалось часто, мама говорила:

— Ничего, сынок, главное — у нас есть крыша над головой, а остальное — второстепенно. Человеку всего-то нужен угол, где он может приткнуться...

Теперь у нас не было и этого угла. Мы потеряли первостепенное. Хотя мама и не говорила мне, но я слышал, как она пыталась узнать о жилье, о переезде и с каждым днем горбилась все сильнее, превращаясь в старуху.

Я должен был побеседовать с ней, сказать нечто по-мужски внятное, это я понимал, но в силу возраста не знал, что именно и как говорить. Оттого безропотно наблюдал, как маму подтачивают, съедают бытовые проблемы и душевная хворь.

Потому когда нам предложили ехать беженцами в Крым, мама не без сомнений, но согласилась. Обещали город у моря, нормальное питание и работу. А потом можно было вернуться. На родину.

Правда, нам возвращаться было некуда, но мы все равно надеялись, и мама не заикалась о доме, я же усердно одергивал себя на фразах вроде «нам стоит взять что-то еще» или «как там наша квартира». Мы густо замешали наше молчание на страхе и постарались привыкнуть к нему, игнорируя любое упоминания о родине. Но все равно слово «вернуться» стало значить для меня слишком много. Город, который я терпеть не мог за грязь, уозость, тоскливость, казался мне теперь любимым и важным только лишь потому, что был родным.

Оттого мы уезжали на время — не навсегда. Ехали в новый российский Севастополь. Туда, где жил мой отец.

5

— Такое сейчас сплошь и рядом! — констатировал мой школьный приятель Тимофей Рогачев, Тима, с ушами-локаторами и запятой чубчика.

Он говорил так о разведенных родителях, о детях, растущих в неполных семьях. Акцент Тима делал на «сплошь», и выходило что-то шипящее, подколенно-змеиное, от чего кожа моя покрывалась пупырышками морозца. Тимофей сам рос в неполной семье — без матери, но с жизнерадостным, крепким отцом, который работал на шахте, но выглядел так, будто держал успешный бизнес.

Рогачев-старший, застав нас дома, садился рядом и говорил, не умолкая, всегда об одном и том же — о донецком «Шахтере». Если бы Ринат Ахметов хотел выиграть главного болельщика клуба, то отец Тимы оказался бы вне конкуренции. Он мог начать разговор с прошедшего матча, или с трансферных новостей, или даже с того, как постирал клубную футболку, но тут же расширял, углублял мысль, нырял в прошлое, когда за «Шахтер» «играли достойные люди: Старухин, Соколовский, Кондратов». Дальше следовал образцовый исторический экскурс, в котором неизменно отыскивалось место новым, ранее не озвученным фактам.

Я завидовал Тиме, завидовал, что у него такой замечательный отец, и когда обижался на маму, шел к Рогачевым в гости и там находил покой. Вот только Тима поступал точно так же: мне не хватало отца, ему не доставало матери, и я думал познакомиться, свести Рогачева-старшего и мою маму, но их единственная встреча прошла в такой тишине, что идея моя сразу же была отброшена и забылась.

Правда, Тима, в отличие от меня, никогда не жаловался. И на все мои возмущения реагировал неизменным:

— Такое сейчас сплошь и рядом!

Это его «сплошь» раздавливало и злило. Я скучал по отцу, а мама не давала никаких — внятных или невнятных — объяснений его отсутствия, отвечая коротко, без эмоций:

— Ушел.

Вот и все объяснение против моей тоски, против моего одиночества. «Ушел». Такое же гадкое словцо, как и «сплошь». Особенно когда рядом был жизнерадостный отец Тимы.

Но с началом войны многое изменилось. Рогачев-старший возненавидел ополченцев. Он ходил к ним с проклятиями и угрозами, с карикатурами и плакатами, словно городской юродивый, и я не узнавал этого ставшего за несколько суток другим человека, расстроенного, как гитара пьяненького уличного музыканта. Он изменился и внешне: осунулся, исхудал, щеки впали, появились темные круги под глазами, кожа покрылась красными шелушащимися пятнами. Но самая страшная перемена произошла с глазами: мрачной густоты добавилось в них. Теперь когда Рогачев-старший видел нас с Тимой, он, как и раньше, садился рядом, но заговаривал уже не о «Шахтере», а о предательстве, о военной экспансии, о бандитах и подлецах, уничтожавших его родину. Ополчение он ненавидел, люто, отчаянно. Никогда я не видел, чтобы человек так ненавидел. Всем собой, без остатка. Словно душу дьяволу продал и еще доплатил.

Тима, несомненно, тоже чувствовал, что я боюсь его нового отца, что он мне неприятен, но заговаривать об этом стеснялся — терпел, сглатывал обиду и страх. Мы оба понимали, хоть было нам по четырнадцать лет, что не сегодня-завтра Рогачева-старшего убьют, и когда я, не выдержав, рассказал об этом маме, она рассудительно, как всегда печально, чуть растягивая слова, произнесла:

— По-своему он, конечно, прав, но так, — она пожевала бескровные тонкие губы, эта ее привычка всегда раздражала меня, — он вряд ли чего добьется. Ему уезжать надо...

Я передал эти слова Тиме. И он, налившись кровью и злобой, орал на меня, чтобы я не лез не в свое дело, что пусть лучше я своего отца поищу, и вообще предъявил много такого, за что ему, конечно, потом было бы стыдно. Ему бы и было, но иное чувство — боль утраты — вскоре захлестнуло его.

Последний раз я видел Рогачева-старшего в понедельник. Знаю точно, потому что за день до этого мы ходили с мамой гулять в парк, а наши совместные прогулки всегда случались по воскресеньям. Рогачев-старший был расшатан и болен, едва не в бреду, и вся его колоссальная сила, питаемая жизнерадостностью, бесследно исчезла. Он шепелявил, по-стариковски пускал слюну и клялся, что ненавидит всех их, проклятых ополченцев, что они быдло и маргиналы, что клейма на них негде ставить. Ярость и ненависть жрали его, будто рак или какая другая чудовищная болезнь.

Но слова, вылетевшие из его рта, покрытого вокруг язвочками и прыщами, мне запомнились, вгрызлись в память: «Ни один приличный человек не поддержит их». Приличные вроде были — например, наш учитель литературы. Да и не только он. Но слова Рогачева-старшего все равно не забывались, сидели во мне паразитами, и, присматриваясь, я действительно наткнулся на жутковатых типов с оружием в руках.

Рогачева-старшего нашли рядом с его домом. С простреленной головой. Сваленного в канаву. И собаки, говорят, вертелись рядом. Были и другие подробности, но я их не слушал. Сразу набрал Тиму. Телефон не отвечал. Был без связи. Он так на нее и не вышел — пропал.

Я ходил к нему в квартиру, стучал в запертые двери, интересовался судьбой Рогачевых у соседей и видел в их глазах нагой страх. Все они молчали, все не хотели

ни на что отвечать. И тогда, набравшись смелости, родившейся во мне как реакция на отчаяние, я сунулся к ополченцам.

Меня встретили люди в форме, экипированные, будто в компьютерной стрелялке, с огромными блестящими автоматами-пушками. Лиц я не видел — только глаза, выглядывающие через прорези в балаклавах; у всех разные, но в то же время похожие своей холодной сосредоточенностью. Я спросил, что с Рогачевыми. Мне не ответили. Не услышали даже, были заняты. Один только боец, чуть прихрамывающий, задал пару вопросов, а потом выдал мне звонкий качественный подзатыльник:

— Давай дуй отсюда, пацан! — гаркнул он с акцентом уроженца не этих мест.

И я свалил, действительно испугавшись. И когда мама узнала об этой моей вылазке, то выпорола меня — впервые с младших классов, наверное — тем, что попало под руку. А попалась бельевая веревка, и мама била меня ею, не шадя, не прицеливаясь, сама же и плача при этом.

Я рыдал уже после. Не столько от боли, сколько от шока. И еще больше от осознания того, что потерял и лучшего друга, и его отца, отчасти, в определенные моменты, заменявшего отца моего, которого я никогда не видел.

6

Как мы и хотели, нас отправили по распределению беженцев в Севастополь. Я никогда не был там, но мама приезжала туда, и город ей очень понравился. Когда я спросил: «Какой он?», мама ответила: «Как рафинад».

Описание мне понравилось. И в душном автобусе, пока нас везли из Донбасса в Крым, я представлял сахарный город, воображая его белые искрящиеся улицы и то, как буду гулять по ним, свободно, без ограничений, и ни один человек в форме не зыркнет на меня, не прикрикнет: «Эй, пацан, а ну-ка вали отсюда!» Все это останется в прошлом. Но лишь на время. Потому что военные уйдут, крышу нашего дома восстановят — и я обязательно вернусь в родной город. А пока — сахарный Севастополь.

— Воспринимай это как поездку на море, как летний отдых, — то ли всерьез, то ли полшутя сказала мама, стягивая каштановые волосы в неизменный тугой хвостик.

Многие из тех, кто ехал с нами в Крым, действительно так и воспринимали эту поездку — как летний отдых. Покупаться на море, позагорать. Фруктов крымских поесть. У них были деньги. И в автобусах такие люди появились лишь потому, что узнали — можно поехать в Крым. Дальше нам обещали распределение на Сахалин, в Тюмень, в другие малозаселенные регионы России, но до этого бы не дошло: мы все — ну или почти все — собирались вернуться домой, на родину. Просто одни ехали, так как остались без жилья и пропитания, а другие — чтобы весело провести время.

В автобусе мама читала книгу с запомнившимся мне названием — «Солнце мертвых». Я спросил: «О чем это?» Мама подумала и ответила: «О Крыме. И о войне».

Всех нас, перегнанных через переправу на огромном, похожем на древнюю черепаху пароме, поселили в лагере на Северной стороне Севастополя. Мы добрались туда поздно ночью, через один работали фонари, и я успел рассмотреть лишь гигантские шатры-палатки, в которых нас и разместили. Выжатый духотой, измочаленный зноем, я рухнул на застеленную кровать и тут же заснул, напоследок успев поймать обжигающий запах свежих простыней, по которому так соскучился.

Утром я встал раньше мамы. Жара не давала спать, обезвоживала. Я чуть приподнялся на локтях, осмотрелся. В палатке было еще, наверное, два десятка человек. Храп, пот, грязь — все это подхватывалось и усиливалось душным пеклом.

Я встал, вышел из палатки. На улице, несмотря на раннее время, сушило и плавало жестокое крымское солнце. Я пошел вдоль палаток. Лагерь, похоже, разбили на бывшем футбольном поле. В двух концах огороженной каменным забором площадки сохранились ворота. Впрочем, кто мог играть здесь — вопрос, потому что ржаво-бурая земля, покрытая редкой белесой травой, была щедро усыпана камнями, гравием, щебнем; упади кто — разбился бы в кровь. По периметру, вместо трибун, шли металлические, с облупившейся краской трубы. Большую часть лагеря занимали огромные шатры-палатки из блестящего кислотно-синего материала. Если не знать, кто и почему жил здесь, то можно было бы решить, что приехал цирк. У ржавых входных ворот примостился шестигранник металлической будки; такие обычно ставят на автомобильных стоянках, усадив туда пенсионера-охранника с подзаряжающимся от сети фонариком и крошечным телевизором. Также перед воротами стояло небеленое кирпичное здание, за ним тянулись столы, сбитые из свежеструганых досок, еще пахнувших спешкой плотников.

Увиденное мне не понравилось. Сделано все было «на отшибись», как говорила мама. И я понял, что лагерь этот на время, на месяц, на два максимум, а потом нас перекинут в другое место. Да, я все равно собирался вернуться домой, на родину, к заводам и терриконам, но вдруг? Вдруг придется застрять на этой выжженной солнцем мертвых земле.

— Эй! — окликнули меня из кирпичного здания. — Ты что тут делаешь?

— Я, — растерялся, — я из лагеря. Из Донбасса.

— Беженец?

— Ну да.

— Так иди в палатку, здесь нельзя лазить.

— А как же?

— Иди, я кому сказал!

Мужик, окликнувший меня, был нечесан и хмур, и эта его застоявшаяся суровость контрастировала с цветастыми гавайскими шортами.

Я вернулся в палатку расстроенный, с вконец разболевшейся головой. Мама уже проснулась и теперь причесывалась, глядя в крошечное зеркало пудреницы. Я думал, она станет ругаться из-за того, что я ушел на прогулку без спросу, но она, повернувшись и улыбнувшись грустно, только сказала:

— Вот мы и дома...

7

С нами в палатке жила толстая молодая женщина по имени Рая. С ней лишний раз не связывались. Не то чтобы ее боялись, но обходили стороной, даже присматривающие за лагерем. Рая, как и все мы, ожидала получить в Крыму иное. Но в отличие от нас не скрывала своего разочарования, переходившего в бурное многословное раздражение.

Когда в лагере три дня не было питьевой воды и мы пользовались той, что отдавала мокрой псиной, из-за чего страдали поносом, а лекарств в медпункте не оказалось, Рая подняла бунт, и нам привезли нормальную воду в огромных красных цистернах. Рая же потребовала поставить нормальные туалеты, и из свежеструганых досок нам соорудили будки с фаянсовыми унитазами, водруженными на «очко». Впрочем, какие-то сволочи все равно ходили не в них, а рядом, на покрытый пятнистой фанерой пол. Рая пробила увеличение числа душевых, пусть и с жуткого вида, протекавшими кранами. Но мы были довольны. Особенно в такую жару. Воду хоть и экономили, а все равно шли под прохладные струи.

Если бы не Рая, жизнь наша оказалась бы куда отвратительнее, невыносимее, а так она преодолевала многие препятствия, решая большинство жизненно важных проблем. Мама называла ее Амазонкой: Рая, с копной как смоль черных, до поясницы, волос, с чуть раскосыми, вечно пылающими глазами, с массивной, но не теряющей женских форм фигурой, действительно напоминала воительницу.

Но на беду, эта ее решимость, всепробиваемость имела и обратную сторону: как она была требовательна к чужим, так же обращалась и со своими, устраивая один скандал за другим. Ее койка стояла напротив моей (мне разрешили остаться с мамой), и часто утром я видел, как она спит, раскинувшись звездой на кровати, открыв ткань однотонных трусиков и целлюлитную рябь бедер. Проснувшись, Рая тут же принималась отдавать указания, выяснять отношения; ее сперва, как могли, игнорировали, но после, не стерпев, отвечали — и начинался бой, в котором она не знала удержу.

Когда засветиться перед телекамерами к нам в лагерь приехал местный большой начальник с лицом спившегося боксера, одетый, несмотря на жару, в блестящий синий костюм, Рая прорвалась к нему и принялась по-македонски стрелять обвинениями и требованиями одновременно. Почему такие условия? Почему воды питьевой не было? Почему кормят только кашей и просроченной тушенкой? Почему в медпункте лекарств нет?

Все это было верно, да, но лично меня больше всего раздражали насекомые: пауки, сколопендры, жуки — они заползали в палатки, вызывая, в зависимости от контингента, легкую или бурную панику. Одну женщину (ей в принципе не везло: то она подвернула ногу, то провалилась в сортир) укусил тарантул, и дежурный по лагерю, из местных, не знал, что с ней делать. Ментам, пригнанным откуда-то с Урала и вечно спавшим в дальних, цвета хаки палатках, было все равно, а эмчээсники, дядьки более решительные и волевые, перекладывали баул ответственности на медиков, которых в лагере не оказалось. Пришлось сообщать начальнику, и пока решали, женщине — ее звали Тамара, а фамилия точно в рифму была Хмара — стало до беспамятства худо. Наконец ее увезли на «скорой», но в приемном покое с украинскими документами принимать укушенную тарантулом отказались. В итоге Тамару все-таки приняли, спасли, но не без последствий для нервной системы: слишком много времени прошло после укуса.

Рая попыталась рассказать большому севастопольскому начальнику и об этом, но ее оттеснили, она еще раз прорвалась и крикнула истерично, взхлеб:

— Да вы бы пожили в таких условиях! Барин!

Чиновник покраснел и стал объяснять, что не все зависит от него, что он сам человек простой, подневольный, а главное — беженцам сострадающий, что живет на съемной квартире, получает весьма умеренную зарплату, на что Рая закричала еще истошнее:

— Да что ты врешь? У тебя часы за двадцатку «зелени»! Я из Луганска, думаешь, не отличу?

Перепапка, конечно, в телехроники не вошла, а вот Рая пропала. И если одни волновались за нее, то другие не слишком открыто, но все же радовались ее исчезновению. Причем чувства не зависели от того, как кто к ней относился; часто более или менее ладившие с ней выглядели довольнее тех, кто бранился.

Но спустя двое суток Рая вернулась. Тихая, увядшая, чуть согнувшаяся в пояснице. Я уже видел этот надлом, знал эту жуткую перемену, когда встретил маму, рыдавшую у разрушенного дома. В лагере зашептались о Рае, думали, что с ней «провели беседу», избили, но следов побоев на лице и теле ее не было.

И все-таки Рая взбунтовалась еще раз — напоследок. Когда нас заставили выбирать город для будущего расселения. Я из-за плеча мамы смотрел и выхватывал

взглядом некоторые названия: Тюмень, Мурманск, Петропавловск-Камчатский. Некоторые беженцы записывались добровольно, но таких оказалось мало: большая часть не хотела уезжать из Севастополя в ледяные края. И Рая, вспомнив себя прежнюю, хоть и запал подрастерявшую, закричала, набирая тон и нерв:

— Мне что, в одних трусах в Сибирь ехать? У меня и одежды нет! А там мороз! Вы что делаете, сволочи? Я землянку здесь вырою, буду в ней жить! Никуда вы меня не сдвинете! Ни-ку-да!

Ее протест в лагере поддержали. Беженцы попросили начальство еще раз обсудить условия переселения, пересмотреть ситуацию, но делать этого не стали, а вопрос решили быстро. Начали кормить по талонам, которые перестали выдавать тем, кто отказался вписать себя для добровольного расселения. Тогда многие определились — Мурманск или Тюмень. А Рая пропала совсем. Не физически — морально.

8

Мама не советовалась со мной, какой город для переселения выбрать. Да и спроси меня — я бы не ответил. Что Мурманск, что Благовещенск — все одно: далекое, холодное, а главное — чужое.

Я и к жизни в лагере-то не привык. Сам Севастополь мне не особо нравился. Он был замусоренный, вальяжный и дорогой. Хоть первое время я и наслаждался морем, куда меня строго по распорядку отпускала мама. Я избегал общественного пляжа, заваленного пластиковыми бутылками и полиэтиленовыми пакетами, где люди вечно ругались на вонь общественного туалета и резались о стекло битых бутылок, уходил от всей этой суетливой грязи подальше, идя вдоль берега туда, где торчали одинокие черные камни с прилипшей краснотой мха и зеленью водорослей. Только там и можно было купаться — или в моем случае барахтаться, потому что плавать я так и не научился. Но все равно тоска по дому к вечеру, когда садилось солнце, подкрадывалась, наваливалась, не давала уснуть.

Я вспоминал промышленные кварталы, тополиные аллеи, захламленные подворотни, черные, в копоти, дома — и все это, безрассветное, невыносимое, теперь зазывало назад, тянуло, требовало моего присутствия. Я скучал, я тосковал, я хотел вернуться. Но путь домой был закрыт.

Война, о которой я, уезжая в Крым, думал, что она скоро кончится, наоборот, отожравшись на кишках и мясе жертв, только окрепла, разохотилась, расвирепела. И наш город стал одним из ее любимых трапезных мест. Мама не сообщала мне новостей из дома, но по ее грустным, припухшим глазам, по доходившим слухам, по редкой связи с теми, кто там остался, я знал, что погибают или мучаются наши общие знакомые, что те, кто жив и не ранен, но не может уехать, доедает последнее или уже доел, что голод страшный, такой, как в рассказах стариков, которые приходили к нам в школу девятого мая. Я знал это, ощущал беззащитностью кожи, но все равно хотел вернуться.

Мама же искала варианты остаться. Действовала как взрослый человек, понимавший, что и возвращение в наш родной город, и переезд куда-нибудь в Сибирь — это мука и в перспективе погибель, моментальная или отсроченная. Потому она разыскивала отца. Мама познакомилась с ним в Саках, на лечебных грязях, куда он приехал из Севастополя, а она — из Донбасса. Тогда меня и вписали в проект бытия. Но свадьбы не случилось, с отцом ее в принципе быть не могло. Он жил одиночкой и такое существование ценил.

Когда я был маленький, отец приезжал к нам три раза, всегда в феврале. Я помню, что у него были длинный нос и мозолистые руки. Он медленно говорил, точно

гири ворочал, и смотрел на меня уныло, не без стеснения, своими болезненными, табачного цвета глазами. А потом он приезжать перестал, отключился, забыл. Я скучал по нему, скучал даже по такому отцу, пробовал выпрашивать у мамы, общаются ли они, но она уходила от ответа или отмалчивалась, хандрила, и мне удалось понять лишь то, что иногда отец напоминал о себе деньгами.

Вот и сейчас, в Севастополе, мама не стала бы разыскивать его, если б не я. Но меня, оставшегося без жилья, без средств, без школы, без зимней одежды, надо было как-то пристраивать. И отец мог помочь в этом. К тому же больше знакомых в Крыму у нас не нашлось.

Днем мама уходила из лагеря, оставляя меня одного, наказав при этом, чтобы я вел себя осторожнее на море. Одно время она вообще пыталась искоренить мои походы на пляж, но быстро сообразила, что шансов на то нет и быть не может, особенно в ее отсутствие. Возвращалась мама ближе к вечеру, уставшая, изможденная и жарой, и безответностью своих поисков. Я боялся спрашивать о том, как она провела день, а она сама вскользь говорила что-то пустяковое, к делу отношения не имеющее и, скорее всего, выдуманное.

Кроме прочего, мама искала работу. В нашем городе, до войны, она работала бухгалтером — здесь ей, максимум, предлагали подработку уборщицей или посудомойкой за гроши, издевательские даже для Украины, а для Крыма, с его новыми российскими ценами, просто кощунственные. Но на другую работу, за другие деньги ее как беженку брать не хотели и всячески это подчеркивали, часто в надменно-издевательском тоне.

Все чаще я заставлял маму плачущей, отчаявшейся. Первое время я пытался успокоить ее, унять боль, но быстро понял, что это тщетно, и теперь всякий раз при виде ее, подавленной, сторбленной, у меня из груди, тошнотой упираясь в кадык, поднималась ярость, отдававшаяся в плечах тяжестью и ломотой, будто на них восседал кто-то; в ушах дребезжало, сердце бухало, и я мог унять это предельное состояние только бегом, по мере которого выплескивал все то дерьмо, что накопилось во мне за день и что в раздражении я хотел швырнуть в лицо людям. Бежал я без цели, лишь бы бежать, но, так или иначе, чаще всего оказывался на холме, с которого открывался вид на море. Большая часть холма была обнесена забором из сайдинга — кто-то вел здесь застройку, оставалась лишь узенькая полоска вытоптанной земли, и на ней были расклеены листы А4 с распечатанными цитатами из Библии («блаженны страждущие...») и указанием церкви, в которую стоило обратиться. Церкви с красивым и настораживающим названием.

Но однажды — день для Севастополя был выдающийся: накрапывал летний дождь — мама сообщила, что берет меня с собой.

— Мы едем к твоему отцу, — шепнула она.

Мы вышли на причал, прошли мимо груд гниющего мусора и торговых палаток, заваленных лакированными ракушками, тельняшками, бескозырками, футболками с Путиным, прочими крымскими сувенирами, сели на катер, пришвартованный на другом берегу Севастополя. Здесь был иной город — действительно сахарно-рафинадный, с колоннадами и барельефами, с лестницами и памятниками, но в эту белую, чуть пожелтевшую от времени, как зубы от кофе, архитектуру были воткнуты современные, из бледно-голубого стекла, высотки, смотревшиеся так, будто на сбор нумизматов заявила группа скинхедов.

Дальше мы ехали на маршрутках, «мерседесах-спринтерах», которые местные называли «топиками». Втиснуться в них оказалось проблемой, даже стоя — был сезон, и в салон набились шумные туристы и сердитые местные. Мне повезло: я ехал рядом с двумя загоревшими до цвета тыквенного масла девицами в купаль-

никах и коротеньких белых юбках. Они были низенькими и грудастыми, любящими выставить себя напоказ.

А вот место, куда мы добрались, оказалось менее симпатичным — почти отвратительным. Я старался думать о девицах в купальниках или о рафинадных колоннах, это чуть помогало, но вот от смрада подворотен спастись не удалось. Мы нырнули сначала в одну, потом в другую, миновали покосившиеся хибары, крытые битым шифером, затем двор, столь густо заросший акациями, что через чащобу пришлось продирааться, и наконец оказались в коридорчике, ограниченном двумя сырыми стенами, прошли и его, очутившись в еще одном дворе, посередине которого стояла облупленная бледно-желтая ванна, а за ней чернело пепелище, судя по запаху, еще недавно бывшее домом.

Увидев его, мама обмерла, пошатнулась и рухнула бы назад, ударившись о бетон затылком, но я успел поддержать ее, ловя и обмякшее тело, и горестный стон.казалось, она, еще секунду назад бывшая напряженной, нервной, но вместе с тем относительно здоровой, воодушевленной, теперь бредила, лепетала, и я не узнавал ее, едва находя силы тащить на себе, дабы усадить на бетонный кругляк, покрытый трухлявой доской. Я думал, что так облегчу ее состояние, но, обретя точку опоры, мама забилась в истерике еще сильнее, зарыдала так громко, что из открывшейся двери — я не сразу заметил, но в этом колодезном дворе было много дверей — выползла растрепанная баба с красным, опухшим лицом, запахнутая в куцый халат.

Она взглянула на маму, потом на меня, еще раз повторила последовательность и ошалело заматерилась. Кроме брани, я не мог разобрать ни слова, не понимая, чего она хочет от нас, а мама продолжала рыдать, и от такого напряжения я, четырнадцатилетний пацан, который должен был стать, как мне наказали, хозяином семьи и опорой матери, разрыдался сам, по-девчачьи судорожно и сопливо.

Тогда шальная баба зашла обратно в дом и вернулась уже с бутылкой водки. Протянула ее сначала маме — та глотнула, потом мне — я повторил и тут же, сморщившись, выплюнул горечь. Но спиртовая гадость, как сигареты тогда, у разрушенного дома, привели в подобие чувства. Я перестал хныкать, а мама забормотала бессвязные обрывки страданий:

— Была... живой... Господи...

Баба уселась рядом. Глотала водку из горла и похлопывала маму по худым, костлявым плечам. Давала выплакаться.

Вскоре по горчичному зерну я начал склеивать смысл происходящего. Мама уже приходила сюда, в этот забракованный Богом и санэпидстанцией двор. На днях. Встречалась с отцом. Он жил в доме, который теперь стал пепелищем.

— Хата сгорела. Три дня назад, — продираясь сквозь колючий мат, понимал я краснолицую бабу, — а Колька выжил. Стоял тут бухой, лепетал. А после умотал куда-то...

Слова не произносились ею, а, скорее, отваливались от нее, будто корка от раны. И тем больнее для нас, что в такой момент рядом оказался именно такой человек. Впрочем, может, оно и к счастью. Будь кто душевнее, сентиментальнее — и он бы полез в душу, что-то такое бы говорил — утешающе-важное, от чего становилось бы еще тоскливее, гаже. А так была эта баба, без возможности пожалеть кого-то, даже себя.

— Куда умотал? А ты родная, что ль? — мама кивнула.

Баба задумалась:

— К мамке, наверное. Куда ему еще деться? Тебе адрес дать?

9

Так мы оказались у бабы Фени. Вернее, таковым стало начало. Новая наша жизнь, запущенная бегством отца.

Баба Феня жила в крымской деревне. Под Симферополем. Там когда-то были ферма, винзавод и элеватор. Но теперь ничего этого не осталось. Деревня стояла мертвая, пожухшая, и я быстро, за три дня, исследовал ее жалкий остов. Обошел, шныря меж крошащихся развалин и облупившихся стен. Будто по родному городу после войны пробирался. Только здесь войны не было. Во всяком случае, той, что с «буками» и с «градами». Но общий пейзаж был так же уныл.

Домик, в котором жила баба Феня, оказался ему под стать. Сложенный из глиняных кирпичей, давно не беленный, он крошился и обрушался. Доски, которыми настелили пол, были проломлены в нескольких местах. Черепичная крыша подтекала. Внутри пахло сыростью, затхлостью и пылью, которую баба Феня разбрасывала, дабы отпугнуть неприятные запахи. На кроватях лежали взбитые пирожки пуховых подушек.

— Из Москвы привезла! — глядя на них, с трепетом говорила баба Феня.

Слова «привезла из Москвы» были отметкой высшего качества. Раньше, когда баба Феня уже была старой, но еще чувствовала себя молодой, она, как и десятки лет до этого, ездила в российскую столицу. Что-то продавала, что-то покупала, неизменно волоча все на себе.

— Это ничего, а вот девочкой...

Тогда ей было совсем тяжело. Невмоготу. Она жила в Брянской области с матерью и двумя сестрами и ездила на подножках поездов торговать яблоками в Москву. Те годы она вспоминала как «страшное время».

Мы долго привыкали к этим ее болезненным воспоминаниям, думая, что они могли обозлить бабу Феню. Но нет. Характер у бабы Фени хоть и оказался не из нежно-пуховых: она была требовательна и к себе, и к другим, часто казалась груба и сурова, — но злобы той, что жалит, как змей, и выедает, как червь, не наслоилось в ней ни на грамм. Баба Феня гнала ее отзывчивостью и добротой, щедрая к каждому, кто бы к ней ни обратился. Мы оказались одними из них.

После того похода к пепелищу отцовского дома мама звонила — при мне и нет — в наш родной город. Вернее, пыталась дозвониться, так как знакомых там почти не осталось. Многие разъехались, кто-то погиб; война или рассыпала, или разварила людей, как пшено. И через несколько дней, в очередной раз не получив талон на питание, мама согласилась ехать в Петропавловск-Камчатский. Своей рукой она вписала этот далекий город в пресно-серый бланк переселения.

Тем вечером я пошел на морской берег, устроился на выщербленном солью и бризами валуне, ощущая его остывающий, накопленный за день жар, и смотрел на волны, мерно накатывающие на узкую полоску песка, на облака грифельного цвета и, прощаясь, грустил о Севастополе. Так же было у меня и с родным городом: я не очаровывался им, когда жил там, но расставание вызвало трепетное, щемящее чувство. Вот и Севастополь я полюбил тогда, когда мне надо было с ним попрощаться.

Возможно, нечто похожее произошло бы со мной и в Петропавловске-Камчатском, если бы нас отправили потом куда-то еще — ведь Россия большая, очень большая, — но сейчас, ловя теплые брызги волн и запах йода, ехать туда, в холод и забвение, в чужой город, мне не хотелось. Весь я противился этому и, вернувшись в лагерь, зло смотрел на дежурных, на ворота, на объявления — на все свидетельства той власти, что отправляла нас в зябкую отчужденность. Все дальше от донбасского дома.

Той ночью я, конечно, не спал, таращился в синий шатер палатки, слушал стрекот цикад, всхлипывание мамы, храп беженцев, шебуршание насекомых. И это затаившееся свидание с ночными тревогами, ползущими одна за другой, как полиэтиленовые пакеты, потянешь один из мешка — пристанут и остальные, раздавливая безысходностью. Я тихо встал, сунул ледяные, несмотря на жару, ноги в резиновые шлепанцы и вышел на общий двор.

У ворот топталось двое пьяных, раздетых до пояса мужиков. Я видел одного из них, мелкокалиберного суетливого парня, днем: он лежал рядом с палаткой, и со спины его, с плеч, рук, будто старые обои, посаженные на клейстер, сползала сгоревшая под безжалостным крымским солнцем кожа. Его звали Витя, и он как-то по-собачьи откликнулся на это имя. Был одним из тех мужиков, здоровых, крепких и вечно пьяных, которые появились в лагере после нас. Большую часть времени они ошивались в городе или на пляже, а когда появлялись в лагере, то кучковались в сторонке с видом матерееющих уголовников. И тетки, я слышал, шептались, почему такие здоровые лбы не остались там, на войне, Донбасс защищать.

В этот раз дежурный вновь пустил их. Они, пошатываясь, побрели к палаткам. А потом он заметил меня, прикрикнул: «Иди к себе, поздно уже!» И пришлось подчиниться.

Вечером же следующего дня многое изменилось. Мама явилась не то чтобы радостная, но бодрая, воодушевленная. Отвела меня в сторону, попросила пройтись. Мы, по привычке взяв с собой все самое ценное, вышли за территорию лагеря, бесцельно побрели мимо панельных девятиэтажек и зарослей ежевики.

— Я сегодня была у твоей бабушки, — мама начала без предыстории.

— Бабушки?!

Я не сообразил, о чем она говорит. Я знал только одну бабушку. Ту, которая жила с нами в донбасской квартире, но умерла, когда я пошел в первый класс. Перед этим она долго болела, и мне, шестилетнему, пришлось научиться менять ей памперсы; теперь мне кажется, что ими, испачканными, пахнут все старики. Другой бабушки у меня не было. Дед же погиб в Великую Отечественную войну при освобождении Польши.

— Помнишь, ту женщину возле дома... отца? Пьяную.

— Да.

— Она же дала мне адрес. Разыскать твоего... отца.

Мама помолчала. Стала бледнеть.

— Я поехала. К его матери. К твоей бабушке, стало быть.

— К бабушке? — все еще недоверчиво повторил я.

— К бабушке, — кивнула она. — Отца там не оказалось, баба Феня давно не видела его, но когда я все рассказала... она предложила нам пожить у нее.

Так мы избежали снегов Петропавловска-Камчатского, оставшись под солнцем мертвых в Крыму.

10

Это было непросто — приспособиться к жизни в деревне у бабы Фени. Возможно, так же непросто, как и к жизни в лагере. И главное — я не мог уяснить, упрочить в сознании, что она — моя бабушка. Моя бабушка! Я даже не мог называть ее так. Просто — баба Феня. Когда мама услышала это мое обращение, то тут же выказала недовольство.

— Она ведь может обидеться!

— А как же мне ее называть?

— Бабушка!

— Ну ты же не говоришь ей — мама...

Она растерялась. Большие печальные глаза ее потупились. Мама всегда говорила: «Феодосия Самсоновна» — и никак иначе. Сказать «мама», наверное, было так же просто, как и мне «бабушка». Так обращаться мы не привыкли.

Собственно, весь этот переезд в деревню еще не воспринимался нами. Мы никак не могли уяснить, что будем жить здесь дольше, чем месяц или два, что это не просто очередное временное убежище, где все — от скрипящих кроватей до воды в бане — чужое, нам не принадлежащее, которое в любой момент отнять могут, — а большая, полноценная остановка, наш новый дом.

Нет, мы не рассчитывали, что кухня, дверь в которую была обита зеленой лысой клеенкой, тронутый ржавчиной холодильник «Минск», столы, заваливающиеся, как хромые собаки, старенький кинескопный телевизор, ожидающая дров печь — что все это теперь принадлежит нам, как в своей грубоватой, простецкой манере настаивала баба Феня. После того как у нас отняли то небольшое, что мы успели скопить, в том числе и здоровье, нервы, такая щедрость не могла восприняться сразу — требовалось время. И внутри по-прежнему сидел червячок, свербящий, ноющий: а вдруг все снова отнимут? Одно мгновение — и жизнь выдаст издевку, принесет горе, как тогда, у изуродованного снарядом дома, или у сгоревшей лачуги отца, или в лагере с сопротивляющейся Раей. Мы не могли даже помыслить новую жизнь — не то что принять ее.

Но постепенно все же обтесывались, привыкали друг к другу. И тут больше всего помогал совместный труд. А сделать в деревне многое надо было. И в хате, и на огороде.

Однажды, устав так, что у меня поднялась температура, я ядовитым шепотом пожаловался маме:

— Может, баба Феня нас батраками взяла?

Сказал — и тут же получил по губам.

Сама баба Феня не терпела лени. Плохо спавшая, кряхтевшая и сгорбившаяся, она поднималась с первой зарей, несмотря на жару, обматывалась платками и, надев сиреневые калоши, шла в кухню. Пила там чай, съедала кусок хлеба с плавленым сырком «Дружба». И так — каждое утро. А после ковыляла на огород — крошечная, с двумя клюками (меня раздражал их стук по разваливавшейся бетонной дорожке); она напоминала жука-сизифа, день за днем волочившего свою ношу. Работа уже не давалась ей легко, как раньше, отзывалась ломотой, травмами, болью, и, отпахав, сколько могла, баба Феня отлеживалась на тахте, выпив корвалол и обезболивающего. Чтобы после идти трудиться вновь.

Работала она ежедневно, приучая к труду и нас. Мы вычесывали, вылизывали огород, сеяли, боронили землю, завели петуха и семь кур, на которых баба Феня выделила свою пенсию, латали забор. Я видел, как к вечеру устают мама, но вместе с тем в бледности ее изможденного, озабоченного лица замерцал свет, которого не было раньше, и восковая безысходность, будто нечисть изгнали, ушла из него.

Мама была городская, но деревенские дела схватывала охотно, вертко. Они давались ей не без напряжения, но давались, а вот я, сколько ни старался — впрочем, старался я так себе, — раз за разом получал нагоняй от бабы Фени. Она ругала меня за вовремя не набранные ведра, за неровно вставленные дуги, за неумение растянуть пленку, за испорченные саженцы, за брошенные на огороде вещи. В такие моменты баба Феня прикрикивала, пыталась делать сама, но часто не справлялась, падала и корила меня:

— Эх ты, негодный малый...

Слов она не выбирала. Говорила так, как в свое время, наверное, говорили ей. И, понимая это, я старался не поддаваться поднимающейся изнутри, точно изжога, горько-едкой обиде, но она все равно душила, подчас доводя до надсадного писка, от чего баба Феня принималась ругаться сама, еще шибче прежнего, пока вдруг не шикала, останавливая кутерьму спора: «Тише! Чего людей дивишь?» Эти ее заглядывания на то, как живут другие, и без ссор раздражали: какой у ее знакомой сын смысленный, и как дружны Рябчиковы, и как соседская девочка до ста научилась считать — подавалось все это в жалостливой, старчески-унылой манере, раздражавшей меня даже больше, нежели сами слова. Но как только перебранка стихала и мы успокаивались, баба Феня тут же забывала причину ссоры, будто только что и не было наговорено друг другу столько бестолково-вздорного. Ни на кого она не держала зла.

Хотя жизнь покровсала бабу Феню прилично. Мужа она потеряла в песчаном карьере, где его придавило, когда он пошел за землей для постройки кухни, а сын — «непутевый» — с ней почти не общался, только денег хватал. «Он и мальцом такой был: лындал все где-то», — шамкала баба Феня о моем отце, которого на самом деле безмерно любила — вся хата была в его фотографиях, и я наконец в полной мере смог рассмотреть родное лицо, от которого мне достались мясистые губы и чуть изогнутые дугами брови.

Часто одними и теми же фразами баба Феня расспрашивала нас о том, как жили отец с матерью, и маме приходилось выдумывать чудаковатые семейные истории, которые я дублировал после. Баба Феня слушала, кивала — ей приходилось говорить в правое ухо, им она слышала хорошо, а вот левое совсем оглохло — и вроде бы соглашалась, но, похоже, скорее для вида; она была крайне проницательна.

Я же никак не мог привыкнуть к ней. И, думаю, мама тоже. Не было ощущения, несмотря на всю ее милосердную доброту, домашнего очага, близкого родственника — хоть баба Феня и представляла нас всем как своих «родичей», — но дело было не в ней, а исключительно в нас: мы разучились верить в доброту, в отзывчивость, верить в самих людей. Особенно когда случались конфликты, день выдавался тяжелым, росли непонимание, напряженность, тогда этот морщинистый человек рядом переставал быть даже бабой Феней, а не то что бабушкой и превращался в надоедливую старуху, отчего-то пустившую нас пожить в свой дом, но мы не ведали, не догадывались, сколько еще могут продлиться эти ее щедрость и доброта. Слишком долго мы были несчастными, чтобы наконец-то поверить своему счастью.

Но оно было. Или, точнее, набросок его. И мы жили в нем, убеждая себя, что так, именно так должно быть.

11

В сентябре, когда наступило первое Минское перемирие, — старенький телевизор, до нашего приезда стоявший безмолвно, теперь ежедневно работал по вечерам, мы смотрели новости — мама собралась ехать домой. Она не стала обсуждать это с бабой Феней, но та догадалась сама и, не щадя, устроила нагоняй. Мамино настроение, еще минуту назад решительное, быстро обратилось в покорно-унылое, затем в плаксивое, и она зарыдала, как всегда, по-стариковски сгорбившись. Но баба Феня, напирая, настаивая, продолжала выговаривать ей за безрассудство, при этом похлопывая по плечу, успокаивая: «Сама так жила, но не сейчас, матушка, не сейчас...»

Ночью, когда скандал поостыл, а в доме повис резкий запах сердечных капель, я подкрался к маме и попросил, чтобы она взяла меня с собой — домой, на Донбасс. Я несколько раз, точно заговоренный, повторил эти слова, действовавшие на меня как теплое молоко с медом. Но мама сказала, что никуда не поедет, смысла в этом нет, и теперь плакал уже я, коря себя за совсем немужскую слабость.

А вскоре обстрелы возобновились. Мама нашла работу — продавщицей в магазине «У Лукьяна». Платили издевательски мало, но больше ее никуда не брали, а тут сжалился хозяин — беззубый краснощекий татарин, — по каким-то родственным делам ездивший на Донбасс, в Стаханов, и с тех пор до валидола переживавший за там происходящее.

Я остался с бабой Феней один на один, и она тут же нагрузила меня работой. Свята для нее была лишь моя учеба, ее она никогда не прерывала, и оттого я частенько делал вид, будто занят уроками. На деле же я к ним обращался редко, в школе учился на «удовлетворительно», хотя в Донбассе был почти отличником, но здесь, в крымском селе, оказался изгоем и для учителей, и для сверстников. Они не трогали меня, не били — не было всего того, что делают с теми, кого не любят, но, по правде, я принял бы и избиения — любой контакт оказался бы лучше, чем то непроницаемое равнодушие, что вклинилось между мной и остальными. Мне не говорили «привет», не говорили «пока», в принципе ничего не говорили. Не просили списать, я сам не мог попросить помощи у кого-то. Мне даже не адресовали случайных взглядов. Иногда казалось, что я не существую, что меня нет. Это стало вскоре навязчивой идеей.

Но в доме у бабы Фени внимания было, наоборот, слишком много. Я не мог уединиться, не мог остаться с собой и собой тоже — она контролировала все мои действия, и если видела, что я ничем или недостаточно занят, то тут же выдергивала и нагружала делами. Я старался не бывать ни в школе, ни у бабы Фени, а шатался по селу, осматривая крошащиеся дома, заброшенные фермы, раскисшие дороги, незасеянные поля и свалки мусора. Это помогало. Хандра деревни, ее неприкрытая окоченелость уверяли меня, что не я один такой — отвергнуто-изолированный, но вся жизнь вокруг.

В тот день лил дождь, и деревня превратилась в разваренную гречневую кашу; я не стал бродить по улицам, а поплелся домой, к бабе Фене, и мы сцепились почти сразу же, как только я заглянул на кухню, сцепились из-за еды. Так часто уже бывало. Баба Феня пыталась усадить меня за стол — есть ее вечно пересоленный, жирный суп из крахмалистой домашней лапши, а я не хотел, я сопротивлялся, меня и так подташнивало от съеденной за углом малиновой хубба-буббы.

К тому же в школе я получил низший балл по истории, которой, приехав из Донбасса, знать, конечно, не мог — ее и крымчане-то не знали, откуда? — но расстроился я даже не из-за оценки, а из-за того, как высмеял меня перед классом наш историк, молоденький парень, бесстыдно пялившийся на девчонок, наглый и туповатый: он сделал мне неадекватно грубое замечание, мол, я не на той земле оказался, а я, не сдержавшись, ответил на срыве, что не ему, студенту, это решать, и он тут же, будто только того и ждал, принялся выговаривать мне так, словно он не учитель, а старшеклассник, добравшийся до жертвы, выбранной им заранее из тех, кто помладше. А после наступил классный час, историк успел пожаловаться нашей классной руководительнице — больной нервной женщине с родимым пятном на щеке, и она отругала меня жестко, но без хамства, не выходя из так называемых рамок приличия, хотя на задних партах все равно издевательски хихикали, и в результате к бабе Фене я вернулся раздраженный, распаренный, внутри клокотало так, словно гремели дьявольские автоклавы, и я не хотел никого видеть,

хотел уединиться, обособиться, но баба Феня моего состояния, как всегда, не почувствовала и тут же, шамкая и кряхтя, принялась доставать меня просьбой поесть «свеженький, горяченький суп», попутно пичкая расспросами и комментариями, на которые приходилось отвечать, а так как она была глуховата, то отвечать криком, от чего мы оба нервничали все сильнее.

Общение наше кончилось дурной сценой, когда я сорвался в истерический крик и, желая сделать гадость, причинить боль — не бабе Фене, конечно, а тому историку, что унизил меня, тем одноклассникам, что посмеялись надо мной, и, наконец, тому миру, что разрушил мой дом, — схватил со стены висевшие там деревянные ложки и швырнул их в кухонный угол, туда, где стояла тяжеленная стальная кровать, накрытая десятком пуховых, шерстяных, байковых одеял. Ложки могли попасть в них — в нечто мягкое, амортизирующее, но они ударились о белую стену, и одна из них, треснув, раскололась пополам.

Баба Феня ахнула, заковыляла к углу. Подняла расколотую ложку. Уставилась на нее, точно на раненое дитя, своими слезящимися, подслеповатыми глазами, а потом расплакалась. И я, до этого никогда не видевший ее старческих слез — старики плачут особенно жалобно, — попятился назад, осел, расползся по стулу. Гнев мой на миг сменился вяжущим отчуждением, но тут же ошалело вернулся, ворвался в меня, словно злой дух, обретший новые силы, и я, не контролируя себя, закричал на плачущую бабу Феню, что она виновата сама, что довела меня до такого вот состояния и что я хочу домой, на Донбасс, что мне не нравится здесь, в ее убогой хибаре, а она плакала, не переставая, не отвечая, и тогда, резко крутанувшись на пятках, словно выполняя прием фигурного катания, я выскочил на двор, в морозящий дождь и, заколотившись, разрыдался сам. Жуткая нервная сцена.

Почти сразу же мне стало стыдно. Я не умел обижаться долго. И когда случалась ссора, либо прорастал обидой внутрь себя, либо, наоборот, выплескивал гнев наружу, как с бабой Феней: криком, угрозами, оскорблениями. Однако и то и другое быстро сходило с меня, будто иней солнечным днем, и тогда цветком зла распускалось иное щемящее чувство — вины, досады на себя за то, что я обидел другого человека.

Так случилось и с бабой Феней. Она не говорила мне ничего больше, не судила, не кидала претензии — жила, как жила до этого, но во взгляде ее, в голосе, дрогнув, появилась обиженная, трагическая нотка. Ложки она убрала в стол, скрепив ту, что переломилась пополам, скотчем. Но однажды, зайдя в кухню, я застал ее, смотрящую на них, тосковавшую. Я понял: она печалилась не из-за меня, не из-за моих криков, но из-за сломанной ложки. Они, не случайно висевшие в кухне на видном месте, были дороги ей.

На следующий день я извинился. Мне хотелось сделать это сразу после ругани, но я не находил в себе сил, решимости, да и сама баба Феня казалась отстраненной, чужой, той, для которой все мои слова были бы бесполезны. И все же, решившись, я подошел к ней, лежавшей на своей громоздкой, застеленной периной кровати, и, как мог, попросил прощения. Она приняла мои извинения сразу, попросила прощения сама, обняла, но мне показалось, что этого мало, и вздумалось поговорить:

— ...баба, извини, что сломал ложки. Я склею, прости.

Она взглянула на меня так, словно в душу ознобом нырнула, и через усилие прошептала:

— Это память. О родине. И о добрых людях...

Я не понял ее, но почувствовал, что слова эти о самом важном, о том, почему и она, и мы все еще здесь. Меж тем я ничего не знал о ней, хоть она и была моей родной бабушкой, которую я так и не смог принять, прописать в своей голове, в сердце, а сделать это был, несомненно, должен. И тогда я стал просить ее рассказать

о себе и о ложках, о жизни своей, чтобы успокоиться, понять и раскрыться. Баба Феня отнекивалась, отмахивалась вялыми движениями рук, она была не из рассказчиков, не из трепливых, но в итоге все-таки согласилась, выпрямилась, сев на кровати, и начала говорить.

12

— Как началась война, в сорок первом, отца сразу забрали. Нас четверо осталось. Я за младшими доглядала. Яшенька тридцать шестого был, пятый год шел, а Катьке — двенадцатый день. Отец, когда уходил, взял ее на руки и плакал. Сказал матери: «Не бросай их, доглядай за ними». И ушел.

Погиб он сразу же. На Десне. Перед этим письмо нам прислал: «Гонят нас, а снарядов никаких нету. Гонят к Десне. А жив буду или нет — не знаю. А как жив буду — пришлю письмо». И не прислал. Погиб.

Мы когда-то ехали на машине там, нас одни добрые люди возили — скока там наших погибло! Потому что пришли, а никаких снарядов нет. И говорили солдаты: «Сталин всех сдал». Но это неправда. Он по радио говорил: «Я никуда не ушел. Я с вами буду». У него сын в плен попал. Ему немец настаивал: «Отдай нам начальника, мы твоего сына отпустим». А он: «Начальника на солдата не меняют». Таков человек был.

В сентябре к нам немец пришел. Уже в деревню. И вот когда немец шел, наши партизаны выходили из леса, солдаты бывшие, скидали одежду с себя и руки вот так поднимали — сдаемся. А немцы с танками, мотоциклами шли дальше. Партизаны — за ними: мы в плен сдаемся, нам не нужна советская власть. И даже люди наши, некоторые, с иконами выходили. Предавали русских.

Ну что, немцы пришли — живем. Куда деться? Тогда все еще посеяно было. А партизаны из леса выйдут — пук из винтовок! Немцы тогда злятся, смотрят на село, говорят — это партизанское. И палат всё. И у нас всё попалили. И людей перебили. Одну бабу поймали, привезли на кладбище. Мы жили как раз подле него. Поймали ее и заставили себе яму копать, и она копает и плачет. Недобитую ее, живком закопали. Она как кричала — земля аж подымалась!

Побегли мы в лес. Он недалёко — семь километров. А немец — за нами. Яшенька — маленький, плачет и на коленки падает. И Катька ревет. Мы под бугром тогда спрятались. Слышим — немец ищет. И рот я Катьке зажала, чтоб не плакала. Яшенька сам замолчал — догадался. А немец нас ищет. Рот Катьке зажала — держу, не отпускаю. Потом думала — задохнулась она. Такой грех взяла бы на душу. Не смекнула, что делаю. Но Господь уберет: Катька жива осталась. В Самаре сейчас живет.

И так мы ушли в лес. К партизанам. Делали ямки, жили там. Я в село за картохами лазила. Немец уйдет, партизан подползет, говорит: «Пока немца нет — идите». И я ходила, картохи копала. А еще ели щавель, лесные яблоки, аниски, траву. Жили.

А потом партизаны говорят: «Жители, вы идите — сдавайтесь в плен. Вон у соседнем лесе четыреста шестьдесят человек убили. И вас убьют». Один только мальчик остался живой. Но он в воду влез, спрятался, двенадцать лет ему было. И вот мы сдаемся в плен. Руки подняли. Идем, а немец нас гонит. У немца огромные овчарки были, лютые. А мы плачем, кричим, жмемся друг к дружке. Выгнали нас в поле, посадили на клевер — и четыре пулемета над нами поставили. Мы все пообнялись, плачем. Ждали, когда начальник приедет. Расстрелять.

А среди нас один старик был. Он на коленках к немцу подполз и говорит: «При чем тут простые люди? Партизаны вас бьют, солдаты, а мы при чем?» И этот немец смилостивился — отпустил нас.

Пришли мы тогда домой. А все попалено. Одна хибара торчит. А так нема ничего. Люди сели на пожарище и сидят. Что делать? А старик этот, который нас спас, он говорит: «Жить надо!» И начал ямку свою искать. И мы начали.

Мы, когда в лес уходили, в ямки вещи поклали. И лесу сверху накидали. Но ямки нашли, все позабрали. Это полицаи брали. Наши русские полицаи, кто немцу продался. У дядьки маминого зять был. Дочку приемную взял, сына. Хороший до войны мужик был. А потом немцы пришли, и он пошел у полицию. И людей бил. Потом к дядьке партизаны пришли и убить хотели. За то, что зять его, полицай, русских людей бьет. Но жена дядьки вышла, кричит: «Бейте тогда меня! Бейте!» И дядьку не тронули. Так она заступилась. А то хотели убить, что зять его — полицай.

Но мы ямки кой-какие нашли, картошку там отыскали. Негодную — проросшую, склизкую. И не поешь, и садить поздно — май. Что из этих картох вырастет? Но куда деваться? Стали пахать на себе. Потянем плуг. Картошки посадим. Боронили тоже на себе. Две семьи собирались и пахали. И картошка хорошая зародилась. Господь нам помог, не оставил Заступник.

А старик, тот, что нас всех спас, вот эти ложки из березы делал. Он и блюда, миски долбал. Чтоб в них что-то есть. Один поест, другим отдаст. А я ложки те сохранила. Как память. Что все друг дружке тогда помогали.

Но настает зима. Жить негде. Сидим в бурьяновых шалашах. Покойная мама говорит: «Давайте возить лес, будем строить землянку». И начали строить, но не построили. Куда там? Думали, поумираем с холоду. Но нас люди пустили. Зимовать. И зимовали мы в их землянке. Тем и выжили.

А седьмого апреля, на Благовещение, Яшенька наш погиб. Мама меня одну оставила — на хозяйство, а сама уехала в город. Я Катеньку доглядала, а Яшенька гулял, потом прибег ко мне и давай сон рассказывать, как он в реке купался. Рассказал и водички у меня попросил, чтобы дальше бежать. А сам мокрый, половода тогда была. Мама наказала, чтоб я его гулять не пушала. Иди, говорю, домой, не пушу я тебя гулять и воды не дам, а он засмеялся, затанцевал и побегал. Слышу через время — бах! И подумала: Яшеньку нашего убило. Выбежала — люди голосят. Говорят: «Яшку пришибло!» И девочке тогда еще одной глаз ранило. Праздник был, дети вокруг бегали, а большие ребята снаряды кидали. И разорвалось. Яшеньку нашего осколком убило.

Мне после сон снился. И до сих пор снится. Иду я по горе. По левую сторону — речка, а по правую — дуг. А там — маленькие детки. И Божья Матерь, во всем белом, высокая, с ними: собирает деткам цветы. И бежит ко мне братик Яшенька. А я ему: «Яшенька, пойдем домой, я тебя тогда не пустила, ты весь мокрый был, а теперь воды дам. Пойдем домой!» А он говорит: «Феня, не пойду я домой. Мне тут крепко хорошо. Вы только не плачьте, что я мокрый». — «Яшенька, что у тебя болит?» — ему говорю, плачу. А он: «У меня только пальчик болит». — У него мизинец во время взрыва оторванный был. И осколком в висок попало. Сказал мне это и побег обратно — к детям и Божьей Матери. «Только не плачьте», — нам говорит. Я до сих пор Матерь Божию вижу и братика. Как живых.

А перед тем, как немцы ушли (это летом уже), к нам спустили с парашюта солдата. Немцы видели, как он к нам в погреб залез. Они за ним пришли. А он натягивает на себе соломку и говорит: «Как мне хочется остаться живым! У меня пять братьев, и все погибли. Один я остался». Немцы вытащили этого солдата. И убили. Тут же, возле погреба. Но солдат нам тогда сказал: «Наши тут близко, в соседнем селе. Но никак не выбьют. Крепко фрицы позакопались!»

Это потом уже, в сорок третьем, на рассвете, Левитан кричал: «А Катюша громко бьет, Ванюша лопочет! Немцы серут у штаны, а русские хохочут! Немец до хуто-

ра Михайловского без штанов побег!» А мы в погребке сидим. Одна высунулась, хотела поглядеть. А снаряд ей как бух! И руку всю отсекло. Учительницей она была.

В сорок третьем немца от нас отогнали. Мы колхоз стали устанавливать. Все на себе делали: борошили, пахали. Вот трудная была жизнь! Хотя и теперь, говорят, трудная. Помню, подъехало начальство из Севска. Одна у нас, такая шустрая, стала песню петь: «Мамочка родимая, работа лошадиная — только нету хомута и ременного кнута». И ее на бричку посадили и повезли. Чтоб больше не пела. И не вернулась она. Тогда строго было. А у ей отца убили, мать умерла. И двое детей осталось.

Так и жили. Как война кончилась, на крышах поездов в Москву ездила. Яблоками торговать. Стану, жду, когда кто в кино идет, парами. А я: «Возьмите яблочки...» Соберу денег, прикуплю кое-что.

Но это другое, ты это слышал, а так заморилась я. Натрынделась, голова болит, немоготу. Отдохнуть надо.

— Так а ложки?

— А ложки я из села привезла. Потом, в сорок девятом. Чтобы родину помнить. И людей... Да, такую я жизнь прожила. И живу.

14

Через неделю после нашего разговора о березовых ложках баба Феня скончалась. «Во сне, как святая, не мучаясь», — сказала мама. И расплакалась.

Баба Феня умерла ночью. И мама, рано ушедшая на работу, не стала ее будить, казалось, спящую. Потом, правда, она не раз вспоминала, что тем утром насторожилась: почему баба Феня до сих пор спит, может, случилось что? Но о смерти мама, конечно, не думала. Да и кто бы подумал?

Потому первым встречать смерть довелось мне. Я собирался в школу, намыливал уши, чистил зубы, но, войдя в комнату сказать «до свидания», увидел мертвую бабу Феню, оцепенел. Она лежала на пыльной перине, словно загодя сложив крестом на груди руки. Лицо ее было покойно, чисто, даже морщины, казалось, разгладились. Кротость ее, спокойствие гипнотизировали. Все суетное, волнительное испарилось, исчезло, и баба Феня предстала такой, какой задумывалась — выстоявшая перед жизнью, смиренная, но непоколебимая, она уходила достойно.

Я позвонил маме, и она тут же примчалась домой, отпросившись с работы. Новое потрясение состарило, взломало ее. В первые минуты, когда она увидела бабу Феню, ее пробил озноб, она разрыдалась.

Но в комнате не оказалось никого, кто мог бы помочь ей, не на кого было положиться. Лишь в углу топтался испуганный, потерянный я. Хотя, возможно, именно мой испуг заставил маму собраться, действовать — материнский инстинкт: защитить сына от неприятностей.

Она вышла в кухню, нагрела воду, обмыла труп. Переодела. Закрыла глаза, связала ноги — так полагалось. Накинула простыни на зеркала в доме. Переложила тело бабы Фени на скамью в центре залы, зажгла восковые свечи, окропила дом святой водой. Все это мама проделала с обморочно-похоронным лицом, но руки и плечи ее не дрожали — похоже, она контролировала себя. И покой, растекшись по дому, застыл, будто студень; лишь на дворе, гремя миской и звеня цепью, внадрыв лаяла кудлатая псина.

После я остался в комнате один на один с мертвым телом. Мама ушла: сообщить о смерти соседям, заказать крест, купить гроб, договориться о том, чтобы выкопали могилу. Я же сидел, всматривался в ровное лицо бабы Фени и вспоминал, что в родном городе, впервые увидев труп с выпученными, будто налитыми свин-

цом глазами — на улице Ленина, после бомбежек, — чудовищно, до онемения пальцев испугался, но тут, когда ушла мама, страх скукожился, испарился; осталось лишь упорное желание понять, расшифровать смерть, а вместе с ним и самого человека. Накатила родственная ноющая тоска, и шепотом, едва-едва, осторожничая, я произнес: «Ба-буш-ка». И еще раз, добавив с нажимом: «Ба-буш-ка Фе-ня».

Меня вдруг согрела мягкость этого имени, нежность его звучания. Имя пахло, как свежий хлеб, как новогодние мандарины — я успокаивался и согревался им. «Бабушка Феня, бабушка Феня», — зашептал я, сползая с кресла на пол, подвигаясь ближе к лежащему телу, заключая холодную руку в свою, теплую.

Мы хоронили бабушку Феню на следующий день, в среду. А вечером вторника мама отправила меня на кладбище — отнести закуски и выпивки рывшим могилу. Собрала черного хлеба, прикопченного сала, квашеных огурцов. Дала литровую банку яблочной самогонки, которую гнал наш сосед — кривой, вечно взволнованный дед Егор.

Когда я пришел на кладбище, мужики еще не докопали. Двое сидело в яме, третий — на соседней оградке. Все курили и пахли так, будто только что растерлись спиртовой настойкой золотого уса. У бабы Фени имелась такая — болотно-ржавая, с разбухшими листьями на дне банки, — она натиралась ею от болей в суставах. Мужики были хмельны, но они всегда, наверное, были хмельны. В них меня смутило другое — хамовато-надменное отношение к горю.

— Здравствуйте, — приветствовал я.

— Здорово, — откликнулись они.

— Перекусить вам принес.

— О, это не помешает.

— Но яму бы докопать надо.

— Это ты не волнуйся — будет...

Они поглядывали на меня исподлобья, открывая беззубые рты. Молодые ребята, но уже состарившиеся, готовые умирать. У одного, того, кто сидел на оградке, на шее вздулась огромная красная шишка, покрытая белесой шелушащейся коркой; я старался не смотреть на нее, но жуть, как это бывает, притягивала.

Тогда, на недокопанной могиле, я вдруг ощутил новое чувство — чувство личной ответственности за происходящее. Я сообразил, что если сейчас отдам этим живым мертвецам самогонку, то они раздавят ее прямо тут, закусив черным хлебом, сосасав прикопченное сало, а дальше расслабятся, бросят копать. И могилы для бабушки Фени завтра не будет. Так я подумал, напрягся и выказал свои опасения, на миг явив раздражение, крик, а они слушали, соглашались и обещали, что все будет кончено в срок и в должном виде. Обещать им ничего не стоило, обещания они раздавали, как промоутеры флаера, но это, данное мне, они сдержали.

И когда я вернулся домой, то, глядя на суетящуюся, навалидоленную мать, понял, что отныне должен стать ее защитником, ее героем — таким, каким своим настойчивым кряхтением и добродушным поругиванием меня научала быть бабушка Феня. Оттого на похоронах я старался успеть везде. На кладбище в основном собрались старухи, и периодически кому-то из них становилось плохо: они охали, ахали, падали, а я подносил воду, нашатырь, валидол — и старухи держались, едва-едва, стоя у гроба через, казалось, давно ушедшую силу; кто-то плакал, мама рыдала, но больше всего людей молилось.

Из-за беготни я не вникал, не задумывался о происходящем. И только когда гроб уже почти закидали бурой землей, я остановился, замер, прикрыв глаза. В деталях, как прописанное мастером, я представил лицо бабушки Фени: ее чуть скособоченный нос, маленькие глаза цвета старых латунных пуговиц, беззубый рот, седые

волоски вокруг рта — и это лицо, в сущности своей некрасивое, мне показалось родным, возвышенным, точно икона.

Купаясь в его свете, я вспомнил о березовых ложках. Одна из них, целая, лежала в кармане. Я достал ее на бледный солнечный свет, всмотрелся, вдумался, ища ответ — какая сила заключалась в ней и почему это было столь важно. На миг показалось, что я услышал голоса десятков людей, говоривших со мной о пережитых страданиях: они являли мне их без жалости и уныния — только крепость и сила, только счастье оттого, что они живы и могут дарить жизнь другим, были в них. И когда голоса смолкли, прощаясь шелестом березовых листьев, я быстро кинул ложку в могилу, и ее тут же забросали бурой землей. Три старухи, заметив мое движение, удивленно обернулись, но я лишь кивнул им, не без достоинства, и они, согласившись, кивнули в ответ.

15

В доме пахнет полынью и одиночеством. Мы возвращаемся с похорон, после скромных поминок, заказанных в скромном сельском кафе: пирожки, суп, котлеты, пюре, немного салатов, принесенная с собой яблочная самогонка. Мама тут же ложится спать, а я иду в кухню.

Открываю ящик стола, нахожу оставшуюся березовую ложку. Она лежит между упаковками мезима и эринита, перемотанная бледным скотчем. Отдираю его, оставляя на дереве темные следы. Пыль пробралась под скотч, сделала свое дело. Я вытираю ее тряпкой, намоченной в воде с нашатырным спиртом. Отчасти это мне удастся. Тогда я кладу ложку на кухонный стол, застеленный клетчатой бело-синей клеенкой. Сажу, смотрю, прислушиваюсь, но голосов, как тогда, на кладбище, нет. Ложка молчит, сердце ее — в тишине.

Иду в чулан, разделенный на две части: одна, большая, отдана под соленья, варенья, другая — под хозяйственные предметы. Между ними — фанерная перегородка. Нахожу клей в маленьком желтом тюбике. Беру его и еще наждачную бумагу, кисточку, возвращаюсь в кухню.

Ложка — по-прежнему на столе. Лежит покойная, нетронутая, чинно-молчаливая. Разломанная на две половины. Там, где дерево треснуло, я обрабатываю его наждачной бумагой, дабы отшлифовать, убрать все лишнее. Затем промазываю края клеем и делаю то, что должен был сделать сразу после того, как сломал ложку, — скрепляю ее, с силой прижимая две части друг к другу. Не ослабляю, держу хватку; держать надо будет долго, потому что поверхность склеивания маленькая — как следует не прижмешь. Надо давить, надо ждать, когда склеится. И главное — надо верить, что склеится.

Одна ложка — в могиле у бабушки Фени, другая осталась у меня. И я хочу ее сохранить как оберег и как память. Потому что нет ничего важнее памяти. Без нее мир рвется на куски, растрачивается попусту. Память есть Родина, и она питает, спасает нас.

Я разжимаю хватку — ложка остается целой. Теперь она есть одно. Осторожно беру ее и несусь в комнату. Поближе к себе.

Ложка вновь говорит, ложка вновь утешает. И отныне так будет всегда. Я не знаю, останемся ли мы здесь, в крымском селе, или поедем домой, в родной город, или куда-то еще, — но в любом случае теперь у меня есть новый голос, новое утешение, есть родина березовых ложек.